

О всемирной любви

Речь Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике

I

<...> В собственных сочинениях г. Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново; ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полу-утилитарного *всепримижительного стремления к многообразному — чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина*. Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться и с именем автора, и с эффектом, произведенным его словами, — тем более что эта не слишком новая мысль о «смирении» и о примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность) распространена в той части нашего общества, которое ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними сухими и отвратительными выводами ее цивилизации покорно помириться не может. До этого, к счастью, еще наше смирение не дошло.

Об этой речи я и хочу поговорить.

Не знаю, что бы я чувствовал, если бы я был *там*. Но издали человек хладнокровнее. Я нахожу, что речь г. Достоевского (напечатанная потом в «Московских ведомостях»¹) в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание *космополитической любви*, которое он считает уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так *непримиримо!*..

<...>

Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, — вот та *осязательно-мистическая* точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на *этой* земле обещают нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся *неудачи* евангельской проповеди на земном шаре, ибо *близость конца* должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...

«Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1-е посл. к Фессал. гл. 5, 3).

И еще: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.

Ибо многие придут *под именем Моим* и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.

Также услышите о *войнах и о военных слухах*. Смотрите, не ужасайтесь: *ибо надлежит всему тому быть*; но это еще не конец.

Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.

Все же это начало болезни»» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 4, 5, 6, 7, 8).

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь.

Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да понимает...» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 12, 13, 14, 15).

И так далее.

Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не *гармонию* всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение². Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.

Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но это, как ему угодно, указание на эту *существенную сторону христианского учения здесь очень кстати*.

Итак, пророчество всеобщего примирения *людей о Христе* не есть православное пророчество, а какое-то *общегуманитарное*. Церковь *этого мира* не обещает... <...>

Покойный митрополит Филарет находил, что телесное наказание преступников полезно для их духовного настроения, и потому он стоял за телесное наказание*³.

И сам г. Достоевский почти во всех своих произведениях, исполненных такого искреннего чувства и любви к человечеству, проводит почти ту же мысль, быть может и невольно, руководимый каким-то высоким инстинктом.

Наказанные преступники, убийцы, блудные, продажные и оскорбленные женщины у него так часто являются представителями самого горячего религиозного чувства... Страдания, угрызения совести, страх, лишения и стеснения, вследствие кары земного закона и личных обид, открывают

* Смотри книгу «Государств[енное] учение митр[ополита] Филарета». В. Н. 1885 года. Между прочим текст: «Ты побиеша его жезлом, душу же его избавиши от смерти».

перед умом их иные перспективы... А «без преступлений и наказаний» они пребывали бы наверно в пустой гордости или зверской грубости... Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основанной любви к людям; *а главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди.* Мы нередко видим, например, что больной человек, окруженный любовью и вниманием близких, испытывает самые радостные чувства; но едва ли найдется человек здоровый, который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет... Поэтому и поэзия земной жизни, и условия загробного спасения — одинаково требуют не *сплошной* какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего *как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью.* Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники. Разумеется, тут естественно следует вопрос: «Кому же взять на себя роль разбойника, кому же олицетворять зло, если это не похвально?» Церковь отвечает на это *не моральным советом, обращенным к личности, а одним общеисторическим пророчеством: «Будет зло!»* — говорит Церковь. Она говорит еще: «Званных много, проповедано будет Евангелие везде, но избранных будет мало; только *нудящие себя* восходят в Царствие Небесное», — потому что самая добрая, кроткая, великодушная *натура* есть дар *благодати*, дар Божий. Нам принадлежат только: *желание, искание веры, усиление, молитва против маловерия и слабости, отречение и покаяние.*

«Блажен претерпевший до конца!»

Христос, повторяю, ставил милосердие или доброту *личным идеалом*; Он не обещал нигде торжества *поголовного братства на земном шаре*... Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые *уступать нельзя.*

II

Мнения Ф. М. Достоевского очень важны — не только потому, что он писатель даровитый, но еще более потому, что он писатель весьма *влиятельный* и даже весьма *полезный.*

Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве — все это может в высшей степени благотворно действовать (*и действует*) на читателя; особенно на молодых *русских* читателей. Мы не можем, конечно, счесть, скольких юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой *политической злобы нигилизма* и настроил ум и сердце совсем иначе; но верно, что таких очень много.

Он как будто говорит им беспрестанно между строками, говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих действующих лиц, изображает

драмой своей; он внушает им: «Не будьте злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по-своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственного сердца вашего; не раздражайтесь; *вы хороши и так, как есть*; старайтесь быть еще добрее, любите, прощайте, жалеете, верьте в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станет несравненно сноснее, и самые несправедливости и тягости гражданской жизни смягчатся под целительным влиянием личной теплоты».

Такое высокое настроение мысли, к тому же выражаемое почти всегда с лиризмом глубокого убеждения, не может не действовать на сердца. В этом отношении к г. Достоевскому можно приложить одно название, вышедшее нынче почти из употребления, — он замечательный *моралист*. Слово «моралист» идет к роду его деятельности и к характеру влияния гораздо более, чем название *публицист*, даже и тогда, когда он по способу изложения является не повествователем, а мыслителем и наставником, как, например, в своем восхитительном «Дневнике писателя». Он занят гораздо более *психическим строем лиц, чем строем социальным*, которым все нынче, к сожалению, так озабочены. Человечество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной проповеди, в морализации прямо сердечной и возложило все свои надежды на переделку обществ, то есть на некоторую степень *принудительности* исправления. Обстоятельства, давление закона, судов, *новых экономических условий* принудят и приучат людей стать лучше... <...>

Вот та преобладающая мысль нашего века, которая везде слышится в воздухе. Верят в *человечество*, в *человека* не верят больше.

Г-н Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в *самого человека*.

Нельзя не согласиться, что в этом направлении много независимости, а привлекательности еще больше...

Таким представляется дело по сравнению с односторонним и сухим социально-реформаторским духом времени.

Но то же самое представляется совершенно иначе по отношению к христианству.

Демократический и либеральный прогресс верит больше в принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору «Карамазовых», надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство обществ. *Христианство же не верит безусловно ни в то, ни в другое — то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле.*

Вот разница. Впрочем, я, может быть, дурно выразился словом *разум*... Чистый *разум*, или, пожалуй, наука, в дальнейшем развитии своем, вероятно, скоро откажется от той утилитарной и оптимистической тенденциозности, которая сквозит между строками у большинства современных ученых, и, оставив это утешительное ребячество, обратится к тому суровому и печальному пессимизму, к тому мужественному смирению с неисправимостью земной жизни, которое говорит: «Терпите! *Всем лучше никогда не будет*. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле *гармония!* И больше *ничего* не ждите. <...>

Верно только *одно* — точно, *одно*, одно только *несомненно* — *это то, что все здешнее должно погибнуть!* И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях: *именно о ближних, а не о всем человечестве*”.

Вот та пессимистическая философия, которая должна рано или поздно, и, вероятно, после целого ряда *ужасающих разочарований*, лечь в основание будущей науки.

Социально-политические опыты ближайшего грядущего (*которые, по всем вероятностям, неотвратимы*) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (то есть глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере *для некоторой части человечества*.

Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (то есть представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И *это как дважды два четыре* вот почему: эти будущие победители устроятся *или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того*, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительное, даже *страшнее*.

В последнем случае жизнь этих *новых людей* должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях (например, на Афоне). А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем *особые*, утешения); постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих... Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство*.

Будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических общежитий, этого мы не знаем.

Если же та часть человечества, которая захочет испытать на себе *блаженство (?)* вовсе новых, общественных и экономических, условий, устроится *свободнее* нашего, то она будет повержена в состояние как бы признанной в принципе и узаконенной анархии, подобно южноамериканским республикам или некоторым городским общинам Древней Греции. Ибо социальный переворот не станет ждать личного воспитания, личной морализации всех членов будущего государства, а захватит общество в том виде, в каком *мы его знаем теперь*. А в этом виде, кажется, очень еще далеко до бесстрастия, до незлобия, до общей любви и до правды — не законом навязанной, но бьющей теплым ключом прямо из облагороженной души!.. Пусть хоть в этой передовой стране, во Франции, коммунисты подождали усиливаться до тех пор, пока все французы не станут хоть такими добрыми, умными и благородными, как герои Жорж Занд; *однако они этого ждать не хотят...*

Итак, испытавши все возможное, *даже и горечь социалистического устройства*, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование; политическое же состояние обществ всегда отзывается и на высшей философии, и на общем, полусознательном, в воздухе бродящем мирозерцании; а философия высшая и философия инстинкта равно отзываются, рано или поздно, и на самой науке.

<...>

Верно понятый, не обманывающий себя неосновательными надеждами реализм должен, рано или поздно, отказаться от мечты о благоденствии земном и от искания идеала нравственной правды в недрах самого человечества.

Положительная религия точно так же в это благоденствие и в эту правду не верит.

Любовь, прощение обид, правда, великодушные были и останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и даже *полезные* нам язвы. Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его... <...> ...Горячее, самоотверженное и нравственно привлекательное обуславливается непременно более или менее сильным и нестерпимым *трагизмом жизни*... Доказательства этому можно найти во множестве в романах самого г. Достоевского. Возьмем «Преступление и наказание». Вспомним потрясающее, глубокое впечатление, производимое изображением бедного семейства Мармеладовых. Нищета, пьяный, ни на что уже не годный отец; мать — тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но в сердце честная и до наивности прямая страдальца; девушка — кроткая, милая, *верующая и торгующая собой для пропитания семьи!*.. И когда эти люди проявляют, при всем этом, высокие качества души своей, глубоко

потрясенный читатель тотчас же понимает, что эта теплота, эта «психичность», этот род нравственного лиризма возможен именно при тех только буднично-трагических условиях, которые избраны автором. То же самое можно найти в изобилии и в «Братьях Карамазовых».

Мы найдем это в доме бедного капитана, в истории несчастного Илюши и его любимой собаки, мы найдем это в самой завязке драмы: читатель знает, что Дмитрий Карамазов не виновен в убийстве отца и страдает напрасно. И вот уже одно появление следователей и первые допросы производят нечто подобное; они дают тотчас действующим лицам случайно обнаружить побуждения высшего нравственного порядка; так, например, лукавая, разгульная и даже нередко жестокая Груша только при допросе в первый раз чувствует, что она этого Дмитрия истинно любит и готова разделить его горе и предстоящие, вероятно, ему карательные невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность, зависть, угнетения, ошибки с одной стороны, а с другой — неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот *жизнь*, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом *гармония. Гармонический закон вознаграждения — и больше ничего.* Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными — *и больше ничего.* В высшей степени цельная полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, — *и больше ничего!*

<...>

Будут лжехристы и антихристы; *будут* «ругатели, поступающие по похотям своим», и т. д. (2 посл. Петра, III, 3; 1 посл. Иоанна, II, 18; поел. Иуды, 18, 19).

И под конец не только не настанет *всемирного братства*, но именно *тогда-то оскудеет любовь, когда будет проповедано Евангелие во всех концах земли*⁴.

И когда эта проповедь достигнет, так сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщения, когда, *при оскудении* даже и той любви, неполной, паллиативной (которая здесь возможна и действительна), люди станут верить безумно в «мир и спокойствие», — *тогда-то и постигнет их пагуба... «и не избегнут!..»*⁵

А пока?

Пока «блаженны миротворцы», ибо *неизбежны распри...*

«Блаженны алчущие и жаждущие правды»...⁶

Ибо *правды* всеобщей *здесь не будет...* Иначе зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет.

«Блаженны милостивые»⁷, ибо всегда будет кого миловать: униженных и оскорбленных кем-нибудь (тоже *людьми*), богатых или бедных, все равно, — наших собственных оскорбителей, наконец!..

Так говорит Церковь, совпадая с *реализмом*, с грубым и печальным, но глубоким опытом веков. Так, по-видимому, еще думал и сам г. Достоевский, когда писал о Мертвом доме и создавал высокое и прекрасное, в своей болезненной истине, произведение — «Преступление и наказание».

Он тогда как будто хотел *только усилить* теплоту любви своим потрясающим влиянием; он не мечтал еще, по-видимому, в то время о *невозможной реально, о чуть не еретической церковной кристаллизации* этой теплоты в *форме здания всечеловеческой жизни*.

В творениях г. Достоевского заметна в отношении религиозном одна весьма любопытная постепенность. Эту постепенность легко проследить в особенности при сравнении трех его романов: «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы». В первом представительницею религии являлась почти исключительно несчастная дочь Мармеладова (торговавшая собою по нужде); но и она читала *только Евангелие*... В этом еще мало православного — Евангелие может читать и молодая англичанка, находящаяся в таком же положении, как и Соня Мармеладова. Чтобы быть православным, *необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения*; а иначе из самого Священного Писания можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство и другие лжеучения, которых так много и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия (или вообще из Библии). Заметим еще одну подробность: эта молодая девушка (Мармеладова) как-то *молебнов* не служит, *духовников* и *монахов* для совета не ищет; к *чудотворным иконам* и *мощам* не прикладывается; отслужила только панихиду по отце. Тогда как в действительной жизни подобная женщина непременно все бы это сделала, если бы только в ней проснулось живое религиозное чувство... И в самом Петербурге, и поблизости все это можно ведь найти... И вероятнее даже, что жития св. Феодоры, св. Марии Египетской, Таисии и преподобной Аглаиды⁸ были бы в ее руках гораздо чаще Евангелия. Видно из этого, что г. Достоевский в то время, когда писал «Преступление и наказание», очень мало о настоящем (то есть о *церковном*) христианстве думал. В «Бесах» немного лучше. Является перед читателем на площади *икона*, чтимая «народом». Автор видимо негодует на нигилистов, позволивших себе оскорбить эту *народную* святыню, — *и только*. Из высшего или из образованного круга русских действующих лиц многие и много говорят о Боге, о Христе («о Нем»), — говорят хорошо, красноречиво, пламенно, с большою искренностью, но все-таки не совсем православно, не святоотечески, не *по-церковному*... Все эти речи с точки зрения религиозной не что иное, как прекрасное, благоухающее «млеко», в высшей степени полезное *для начала* тому, кто вовсе забыл думать о Боге и Христе; но только «начало пути», только «млеко», а *твердую и настоящую пищу православного христианства* человек познает тогда, когда начнет с *трепетным* и до сердечного, так

сказать, своекорыстия живым интересом читать Иоанна Златоуста, Филарета Московского, жития святых, Варсонофия Великого, Иоанна Лественика, переписку оптинских наставников, Макария и Антония⁹, с их духовными детьми, мирянами и монахами.

Правда, эпиграфом к роману «Бесы» выбран евангельский рассказ об исцелении бесноватого, который, *исцелившись, сел у ног Христа*, а бесы, бывшие в нем, вошли в свиней, кинувшихся в море... «Бесноватый» олицетворяет в этом случае у г. Достоевского *Россию*, которая тогда исцелится от всех недугов своих, лично нравственных и общественных, когда станет более христианскою *по духу своему нацией* (разумеется, в лице своих образованных представителей). Но и это весьма неясно... *Какое* христианство: общеевангельское какое-то или в самом деле православное, с верой в икону Иверской Божией Матери, в мощи св. Сергия, в проповеди Тихона Задонского¹⁰ и Филарета*, в прозорливость и святую жизнь некоторых и ныне живущих монахов?..

Какое же *именно* христианство спасет будущую Россию: первое, неопределенно-евангельское, которое непременно будет искать *форм*, — или второе, с определенными формами, всем, хотя с виду (если не по внутреннему смыслу), знакомыми?..

На это мы в «Бесах» не найдем и тени ответа!

«Братья Карамазовы» уже *гораздо ближе* к делу. Видно, что автор сам шел хотя и несколько медленно, но все-таки по довольно правильному пути. Он приближался все больше и больше *к Церкви*.

В романе «Братья Карамазовы» весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением; некоторые из действующих лиц высшего класса признают за ними особый духовный авторитет. Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар «прозорливости» (в пророческом земном поклоне его Дмитрию Карамазову, который должен в будущем быть по ошибке обвинен судом в отцеубийстве) и т. д.

Правда, и в «Братьях Карамазовых» монахи говорят не совсем то или, точнее выражаясь, *совсем не то*, что в действительности говорят *очень хорошие* монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские. Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... *Отшельник и строгий постник*, Ферапонт, мало *до людей* касающийся, *почему-то* изображен неблагоприятно и на-

* Даже и в его духовный авторитет по государственным вопросам. Еще раз позволяю себе обратить внимание читателей на ту весьма полезную книгу, о которой я уже упоминал один раз: «Государственное учение Филарета (Митроп. Московского). В. Н. — вторым изданием вышедшую в Москве в нынешнем году.

смешливо... *От тела* скончавшегося старца Зосимы *для чего-то* исходит *тлетворный дух*, и это смущает иноков, считавших его святым.

Не так бы, положим, обо всем этом нужно было писать, оставаясь, заметим, даже вполне на «почве действительности». Положим, было бы гораздо лучше сочетать *более сильное мистическое чувство с большей точностью реального изображения*: это было бы правдивее и полезнее, тогда как у г. Достоевского и в этом романе *собственно мистические чувства* все-таки выражены слабо, а чувства *гуманитарной идеализации* даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно.

Все это так. Однако, сравнивая «Братьев Карамазовых» с прежними произведениями г. Достоевского, нельзя было не радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и столь искренний, все больше и больше *пытается выйти* на настоящий церковный путь; нельзя было не радоваться тому, что он видимо стремится замкнуть наконец в определенные и священные для нас формы лиризм своей пламенной, но своевольной и все-таки неясной морали.

Еще шаг, еще два, и он мог бы подарить нас творением истинно великим в своей поучительности.

И вдруг эта *речь!* Опять эти «народы Европы»! Опять это «последнее слово всеобщего примирения»!

Этот «всечеловек»!

— *И ты тоже*, Брут!¹¹

Увы, и *ты тоже!*..

Из этой речи, на празднике Пушкина, для меня по крайней мере (признаюсь), совсем неожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно великому множеству *европейцев* и русских *всечеловеков*, *все еще* верит в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может и скоро, придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма.

Именно бесследно! Ибо что мы принесем на этот (по-моему, скучный до отвращения) *пир всемирного* однообразного братства? Какой *свой*, ни на что чужое не похожий, след оставим мы в среде этих *смешанных людей грядущего*... «толпой»... если не всегда «угрюмою»... то «скоро позабытой»...

Над миром мы пройдем без шума и следа, —
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением начатого труда...¹²

Было нашей нации поручено одно великое сокровище — строгое и неуклонное церковное православие; но наши лучшие умы не хотят просто «смиряться» перед ним, перед его «*исключительностью*» и перед тою *кажущейся сухостью*, которою всегда веет на романтически воспитанные

души от всего установившегося, правильного и твердого. Они *предпочитают «смиряться»* перед учениями антинационального эвдемонизма, в которых по отношению к Европе даже и нового нет ничего. Все эти надежды на земную любовь и на мир земной можно найти и в песнях Беранже, и еще больше у Ж. Занд, и у многих других.

И не только имя Божие, но даже и *Христово имя* упоминалось и на Западе по этому поводу не раз.

Слишком *розовый* оттенок, вносимый в христианство *этой речью* г. Достоевского, есть *новшество* по отношению к Церкви, от человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущей; но этот оттенок не имеет в себе ничего — ни особенно русского, ни особенно нового по отношению к преобладающей европейской мысли XVIII и XIX веков.

Пока г. Достоевский в своих романах говорит *образами*, то, несмотря на *некоторую личную примесь* или *лирическую субъективность* во всех этих образах, видно, что художник вполне и более многих из нас — *русский человек*.

Но выделенная, извлеченная из этих русских образов, из этих русских обстоятельств чистая мысль в этой последней речи оказывается, как почти у всех лучших писателей наших, почти вполне европейскою по идеям и даже по происхождению своему.

Именно мыслей-то мы и не бросаем до сих пор векам!..

И, размышляя об этом печальном свойстве нашем, конечно, легко поверить, что мы скоро расплывемся бесследно во *всем* и во *всех*.

Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?.. Не могу понять и не умею!..

III

<...>

О воцарении «правды» и «благоденствия» на земле я не буду здесь много говорить, потому что по этому вопросу все люди, мне кажется, разделяются, очень просто, на расположенных этому идеалу верить и на пожимающих только плечами при подобной мысли, противной одинаково *и реальным законам природы, и всем главным и самым влиятельным из известных нам положительных религий*.

<...>

О «гармонии» я постараюсь сказать особо, если успею, потому что слово «гармония» я понимаю, по-видимому, иначе, чем г. Достоевский и многие другие современники наши. Теперь же объяснюсь примером, кратко и мимоходом. Пушкин сопровождает Паскевича¹³ на войну; присутствует *при сражениях*. *Много людей убито, ранено, огорчено и разорено*. Русские победителями вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за все это время множество *сильных и новых ощу-*

щений. Природа Кавказа и Азиатской Турции; вид *убитых и раненых; затруднения и усталость* походной жизни; возможность *опасности*, которую Пушкин так рыцарски любил; удовольствия штабной жизни при торжествующем войске; даже *незнакомое ему дотоле* наслаждение восточных бань в Тифлисе... После всего этого, или под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле.

Вот *это гармония*, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского *нравственного согласия*, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и *в жизни самой*, и в искусстве.

Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного во целостности своей, есть проявление *«реально-эстетической гармонии»*...

<...>

Братство *по возможности* и гуманность действительно рекомендуют Священным Писанием Нового Завета *для загробного спасения личной души*; но в Священном Писании *нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал... Это неправда*: Христос приказывает, или советует, всем любить ближних *во имя Бога*; но, с другой стороны, пророчествует, что Его многие не слушают.

Вот в каком смысле гуманность новоевропейская и гуманность христианская являются несомненно антитезами, даже очень трудно примиримыми (или примиримыми *эстетически*, только в области поэзии, как *жизненной*, так и *художественной*, то есть в смысле *увлекательной и многосложной борьбы*). Удивляться этому или ужасаться такой мысли не следует. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея *простая*; христианство есть представление *сложное*. <...>

Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда *посещением Божиим*.

А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти *полезные* нам обиды, разорения и горести...

В этом отношении христианство и гуманность можно уподобить двум сильным поездам железной дороги, вышедшим сначала из одного пункта, но которые, вследствие постепенного уклонения путей, должны не только удариться друг об друга, но даже и прийти в сокрушающее столкновение*.

Во всех духовных сочинениях, правда, говорится о любви к людям. Но во всех же подобных книгах мы найдем также, что *начало*

* Уподобление это принадлежит не мне; но оно так прекрасно, что я хотел непременно воспользоваться им. Оно принадлежит Прево-Парадолю¹⁴, застрелившемуся в Америке. Он прилагал его к Франции и Германии еще до войны 1870 года и предсказывал поражение своей отчизны.

премудрости (то есть религиозной и *истекающей из нее* житейской премудрости) есть «страх Божий», простой, *очень простой страх* и загробной муки, и других наказаний в форме земных истязаний, горестей и бед.

Отчего же г. Достоевский не говорит *прямо об этом страхе*? Не потому ли, что *идея любви привлекательнее*? Любовь красит человека, а страх унижает. Но, во-первых, перед христианским учением добровольное унижение о Господе (то есть самое «смирение», которое так уважает и г. Достоевский) лучше и *вернее для спасения души*, чем эта гордая и невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной *елейности*. Многие праведники предпочитали удаление в пустыню *деятельной* любви; там они *молились Богу сперва* за свою душу, а *потом* за других людей; многие из них это делали потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, то есть *страх и своего рода унижение*, вернее, чем претензия *мирского незлобия* и чем *самоуверенность деятельной любви* в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться *деятельной и горячею любовью*, а прежде всего учат *послушанию, принижению, пассивному прощению обид*... И это все считается до невероятности трудным, в особенности для тех людей, которые воображают себя уже «смирненными» и в «миру» *собственными усилиями* для монастыря подготовленными. Случаями поразительного падения этих духовных Икаров, нередко весьма искренних и благородных, наполнена история монашества от начала его и до нашего времени.

Да, прежде всего *страх*, потом «смирение»; или прежде всего — *смирение ума*, презрительно относящегося не к себе только одному, но и ко всем другим, даже и гениальным человеческим умам, беспрестанно ошибающимся.

Такое смирение шаг за шагом ведет к вере и страху пред именем Божиим, к *послушанию учению* Церкви, этого Бога нам поясняющей. *А любовь — уже после*. Любовь кроткая, себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая — это плод, венец: это или награда за веру и страх, или особый дар благодати, *натуре* сообщенный, или случайными и счастливыми условиями воспитания укрепленный. <...>

Есть, однако, в числе разных многочисленных родов и оттенков человеческой любви один особый род, который может и неверующего и несмиренного человека *своим* путем привести и к вере, и к смирению, а потом даже и к той любви человечества о *Боге*, которой достигали столь немногие во все времена, да и то приблизительно, подобно тому как к квадратуре круга приближается подвижной многоугольник, к полному и неподвижному кругу Божественной чистоты.

Но об этой любви я не стану говорить своими словами. Прежде меня и лучше меня сказал о ней, почти в одно время с г. Достоевским,

другой русский христианин, в речи менее прославленной, но в одном отношении более правильной, чем речь г. Достоевского.

Я говорю о К. П. Победоносцеве¹⁵. <...>

В чем же разница между этими двумя речами, одинаково прекрасными в ораторском отношении?

И там «Христос», и здесь «Божественный Учитель». И там и здесь — «любовь и милосердие». Не все ли равно? Нет, разница большая, расстояние неизмеримое...

Во-первых, в речи г. Победоносцева Христос познается не иначе как *через Церковь*: «любите прежде всего Церковь». В речи г. Достоевского Христос, *по-видимому*, по крайней мере, до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, то есть с самыми *существенными* положениями и *безусловными* требованиями православного учения, приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и «гармонии».

Во-вторых — о «милосердии и любви». И тут для внимательного ума большая разница. «Милосердие» г. Победоносцева — это *только личное* милосердие, и «любовь» г. Победоносцева — это именно та не-притязательная любовь к «ближнему» — именно к *ближнему*, к *ближайшему*, к *встречному*, к тому, кто под рукой, — милосердие к *живому*, *реальному* человеку, которого слезы мы видим, которого стоны и вздохи мы слышим, которому руку мы можем пожать действительно как брату в *этот час*... У г. Победоносцева нет и намека на собирательное и отвлеченное человечество, которого многообразные желания, противоположные потребности, друг друга борющиеся и исключаящие, мы и представить себе не можем даже и в настоящем, не только в лице грядущих поколений...

<...>

По-видимому, в некоторых местах речи своей г. Достоевский говорит почти в том же смысле, в исключительно личном. В этих местах он является *по-прежнему* вполне христианином — только христианином, *чего-то ясно и прямо не договорившим и что-то другое, лишнее* вместе с тем *пересказавшим*.

Например:

«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной «ниве»... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и *других свободными сделаешь, и узришь счастье*, ибо наполнится жизнь

твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде *мировая гармония*, если ты первый сам ее не достоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».

Недоговорено тут малости: *не упомянуто о самом существенном — о Церкви.*

Пересказано лишнее — о какой-то окончательной (?) гармонии.

Но оставим эту гармонию, о которой я уже говорил и которая испортила, по-моему, все прекрасное дело Ф. М. Достоевского. Посмотрим лучше, что такое это смирение перед «народом», перед «верой и правдой», которому и прежде многие нас учили.

В этих словах: *смирение перед народом* (или как будто перед мужиком в специальности) — есть нечто очень сбивчивое и отчасти ложное. В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? Нет; всякий знает, что не об этом речь: это само собою разумеется и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? Есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще *личные*, в тесном смысле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству... Конечно, не с этой стороны советуют нам перед ним «смиряться». Надо учиться у него «смиряться» *умственно, философски смиряться, понять*, что в его *мировоззрении больше истины*, чем в нашем...

<...> Поэтому смирение перед народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не что иное, как *смирение перед тою самою Церковью, которую советует любить г. Победоносцев.*

И эта любовь гораздо осязательнее и понятнее, чем любовь *ко всему человечеству*, ибо от нас зависит узнать, чего хочет и что требует от нас эта Церковь. Но чего завтра пожелает не только все человечество, но хоть бы и наша Россия (утрачивающая на наших глазах даже прославленный иностранцами государственный инстинкт свой), этого мы понять не можем наверно. У Церкви есть *свои неизблемые правила* и есть *внешние формы* — тоже свои собственные, особые, ясные, видимые. У русского общества нет теперь ни *своих* правил, ни *своих* форм!..

<...>

Любить Церковь — это так понятно!

Любить же *современную* Европу, так жестоко преследующую даже у себя римскую Церковь, — Церковь все-таки, великую и апостольскую, несмотря на все глубокие догматические оттенки, отделяющие ее от нас, — это просто грех!

Отчего же в нашем обществе и в *безыдейной* литературе нашей не было заметно сочувствия ни к Пию IX, ни к кардиналу Ледоховскому¹⁶, ни к западному монашеству вообще, теперь везде столь гонимому? Вот бы в каком случае могли совместиться и христианское чувство, и художественное, и либеральное.

Ибо, с другой стороны, католики — это единственные представители христианства на Западе (и об этом прекрасно писал тот самый Тютчев, который хвалил долготерпение русского народа¹⁷); с другой — истинная гуманность, живая, непосредственная, не может относиться только к работнику и раненому солдату.

Человек высокого звания, оскорбляемый и гонимый толпою, полководец побежденный, подобно Бенедекку или Осман-паше¹⁸, может пробудить очень живое и глубокое чувство почтительного сострадания в сердцах неиспорченных односторонними демократическими «сантиментами».

А поэзии, конечно, в папе и Ледоховском больше, чем в дерзком и в дюжинном западном работнике.

Я думаю, если бы Пушкин прожил дольше, то был бы за папу и Ледоховского, даже за Дон Карлоса...¹⁹ Революционная современность претворяет в себя постепенно всю ту старую и поэтическую разнообразную Европу, которую наш поэт так любил, конечно не нравственно-доброжелательным чувством, а прежде всего художественным, каким-то пантеистическим...

<...>

И как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание г. Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!» — воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих: «О, как мы ненавидим тебя, *современная Европа*, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием!»

Если такого рода ненависть — «грех», то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к Церкви... Я говорю — «к Церкви», даже и католической, ибо если б я не был православным, желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом и либерал-демократом!!! Уж это слишком мерзко!!..

Примечание 1885 года

Есть люди, весьма почтенные, умные и Достоевского близко знавшие, которые уверяют, что он эту речь имел в виду выразить *совсем не то*, в чем я его обвиняю; они говорят, что у него при этом были даже некие *скрытые мечтания апокалипсического характера*. Я не знаю, что Ф. М. думал и что он говорил в частных беседах с друзьями своими;

это относится к интимной биографии его, а не к публичной *этой* речи, в которой и тени намека нет на что-нибудь не только «апокалипсическое» (то есть *далее* определенного учения Церкви идущее), но и вообще очень мало истинно религиозного — гораздо меньше, чем в романе «Братья Карамазовы». Так как в недостатке смелости и независимости Ф. М. Достоевского уж никак обвинять нельзя, то эту речь надо, по моему мнению, считать просто ошибкой, необдуманностью, промахом какой-то нервной торопливости; ибо в его собственных сочинениях, даже и ранних, можно найти много мыслей, совершенно с этим культом «всечеловека», «Европы» и «окончательной гармонии» несовместных.

Например, в «Записках из подполья» есть чрезвычайно остроумные насмешки именно над этой окончательной гармонией или над благоустройством человечества. Если Достоевский имел в виду все-таки *что-то другое*, так надо было прямо это сказать и хоть намекнуть на это, а то по чему же люди могут догадаться, что такой умный, даровитый, опытный и смелый человек говорит в этой речи одно, а думает другое, — говорит нечто очень простое, до плоскости простое, а *думает о* чем-то очень таинственном, очень оригинальном и очень глубоком?.. Догадаться невозможно.

Нередко, впрочем, случается и то, что писатель сам в жизни уже дозрел до известной идеи и до известных чувств, но эти идеи и чувства его еще не дозрели до литературного (или ораторского — все равно) *выражения*. Он еще не нашел для них соответственной формы.

Я готов верить, что, поживи Достоевский еще два-три года, он *еще гораздо ближе*, чем в «Карамазовых», подошел бы к Церкви и даже к монашеству, которое он любил и уважал, хотя, видимо, очень мало знал и больше все хотел учить монахов, чем сам учиться у них.

Лично я слышал, он был человек православный, в храм Божий ходил, исповедовался, причащался и т. д.; он дозрел, вероятно, сердцем до элементарных, так сказать, верований православия, но писать и проповедовать правильно еще не мог; ему еще нужно бы учиться (просто у духовенства), а он спешил учить!

Впрочем, большинство наших образованных людей, даже и посещающих храм Божий и молящихся, так невнимательно и небрежно относится к основам учения христианского, что, пожалуй, речь более православная не так бы и понравилась, как эта речь, которая польстила нашей религиозной и национальной бесцветности и как бы придала ей (этой бесцветности) высший исторический смысл.

Ошибка оратора, неясность и незрелость его мыслей на этот раз, вероятно, и доставили ему такой шумный, но вовсе не особенно лестный успех.

<...>

